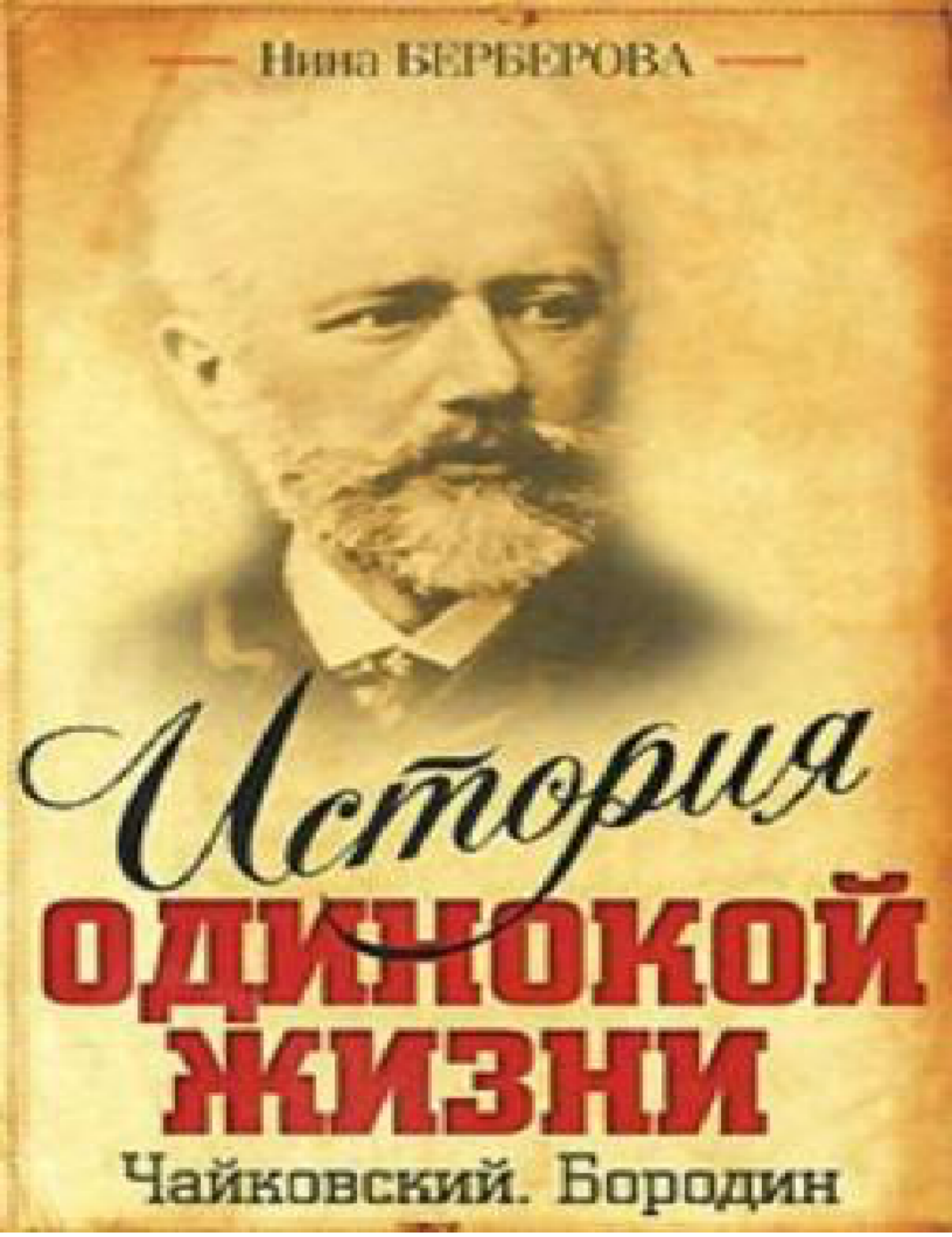
Нина БЕРБЕРОВА



История одинокой жизни

Чайковский. Бородин

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В этой книге признанный мастер беллетризованных биографий Нина Берберова рассказывает о судьбе великого русского композитора А. П. Бородина.

Автор создает портрет живого человека, безраздельно преданного Музыке. Берберова не умалчивает о «скандальных» сторонах жизни своего героя, но сохраняет такт и верность фактам.

- Нина Николаевна Берберова
  - I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

Нина Николаевна Берберова
БОРОДИН

I

Собственный дом матери — впрочем, матерью Бородин никогда ее не называл, а называл всегда «тетушкой», не то в шутку, не то всерьез, но так повелось с самого раннего детства, — собственный матери четырехэтажный, с чугунным подъездом и узорными наличниками, дом в Ротах выходил чисто вымытыми квадратными окошками прямо на двор Измайловского полка, и там маршировали солдаты. Он подолгу стоял и смотрел на их упражнения, не слыша команды за двойными рамами, но слыша барабан, звук которого очень любил — особенно, когда форточка была отворена и вместе с сухим морозом он сыпался в комнату. Под барабан он задремывал в сумерках на подоконнике. Челяди в доме было много. Экономка Катерина Егоровна и фрейлейн Луизхен искали его, а он не откликался за шторой. Не найдя его, обе садились в угол «зала» с вязаньем, подле свечи в бронзовом подсвечнике. Являлся буфетчик с разговорами. И однажды Саша услышал:

— А ведь подумать только: барыня-то ведь едва Сашеньку не скинула. И не было бы Сашеньки, спаси Бог!

Его не было бы? Как странно и страшно было представить мир без себя. Этот дом, с львом на чугунном подъезде, стоял бы, как стоит, и вот так же падал бы снег на последнего марширующего солдата. И масляный фонарь освещал бы вывеску «здесь бреют и стрегут». Так же Катерина Егоровна и Луизхен мыли бы в корыте братцев, а его не было бы, и кого бы тогда *она* любила? Он испугался при мысли, что другого кого-нибудь, сошел с подоконника. «Я сошла с подоконника», — сказал бы он, потому что всегда говорил о себе в женском роде, играя в девочку; он спрыгнул, побежал в спальню матери, и только там вернулось к нему блаженство, меры которому не было: всех краше, милей, умней, у зеркала сидела мать.

— Моя лапочка, сторублевый мой котик, — сказала она и поцеловала его в глаза, и он увидел нежный слой румян на ее щеках, ее тонкие, чуть начерненные брови, вдохнул запах духов, идущий от ее плеч и русых волос.

— Я хочу учиться на барабане, — сказал он, ковыряя какую-то баночку, — я бы тебе играла на барабане, тебе, Луизхен и Мари. (Мари была кузина, на которой он собирался жениться.)

Она весело захохотала, и из темного угла комнаты ей в ответ раздался медленный, глуховатый смех Луки Семеновича Гедеаношвили. Он сидел там, в синем сюртуке, расчесанный на пробор, с лицом почти оливкового цвета и зеленой своей

сединой, сверкая чудной глубины глазами, огромными, как поверхность полного стакана. Таким он был изображен на висевшем прямо против него портрете, только там он держал в почти черных, правильных руках Евангелие и не смеялся. Луке Семеновичу было под семьдесят, и был он членом Библейского общества.

Он ездил каждый день. Серая в яблоках пара его полдня и полночи простаивала у подъезда дома. Кучер и выездной лакей — свои люди — выпивали по два самовара каждый в гостях у Катерины Егоровны. А «тетушку» из уважения к ее двадцати пяти годам и к трем ее сыновьям (приписанным к различным крепостным Луки Семеновича) никто давно уже не называл «барышней». Но самом же деле она именно была «барышней», Дуней Антоновой из Нарвы, красотой, умом, прелестью покорившей князя из рода Имеретинских.

Кто были эти крепостные люди, к которым приписывал Лука Семенович своих сыновей, рожденных девицей Антоновой? Бородин, Александров, Федоров — о них никто и не помнил в доме. Сашу по отчеству звали Порфирьевич, Митю — Сергеевич, Еню — Федорович, и все это было так просто и естественно, как и то, что старший сын, которому шел 12-ый год, был смуглым лицом, длинными глазами и ленивой повадкой схож и с Лукой Семеновичем, и с его таинственным синим портретом, висящим в спальне «тетушки».

Медлительный, безразличный к жизни, играющий в девочку, сонный над книгами, он рос в своем крепком детском раю, а с ним — Мари, тоненькая, некрасивая, легонькая, которую он сажал на печку и сам потом лез туда же, и там они ложились рядом и мечтали о том, что будет, когда они будут мужем и женой.

— Тетушка, можно нам жениться? — спрашивали они.

— Женитесь себе на здоровье, — отвечал звонкий, веселый голос.

Машка, Наташка, Нюшка — были их куклы, которых однажды он взял и перевешал, протянув веревочку от двери к окну.

— Луизхен, погляди, пожалуйста, я их всех перевешала за горлышко, — объявил он, и Луизхен ахала, а пришедшая в гости некая Элен (в которую он дико и пламенно был влюблен) сказала, что это с его стороны жестоко.

Он смотрел на высокую, с громадными ногами и руками Элен, которая была раза в три его старше, таял от чувств и, наконец, сочинил какую-то польку, — душа должна была вылиться во что-то, в песню, в танец. Польку сыграла на рояле Луизхен, и Элен протанцевала ее с ним — он доходил ей до

пояса. А Мари сидела на печке одна и ревновала в слезах.

И опять — зима; опять барабан на казарменном дворе. Он хочет учиться играть на барабане. Но в дне, забитом уроками математики, латынью, физикой, немецким, философией, мать выкраивает всего полчаса — не для барабана, а — так и быть — для флейты. И с того самого двора, засыпанного снегом, где учится полк, является в дом, в скрипучих сапогах, пахнущий морозом и деревней, флейтист военного оркестра. По полтиннику за урок. Саша неистовствует от радости. Лука Семенович от его музыки зажимает себе уши, в своем узорном кресле, отложив Евангелие.

Атлас и кретон в гостиной; высокие свечи, зеркала. Гравюры на стенах — поход Суворова в Альпах. Детская, с братцами. Официантская, с таинственным, многоречивым миром прислуги. Весь дом наполняется внезапно ужасающими запахами, клубами зловонного пара, плавающего в комнатах: на лестнице, на подоконниках, на фортепьяно, на буфетах, на умывальниках стоят Сашины посудины, которые закрещивает экономка Катерина Егоровна, — это первенец «тетушки» занялся химией. Что-то вчера взорвалось и едва не лишило Луизхен глаза; что-то загорелось, вызвали пожарных. «Мой сторублевый котик, — говорит мать, зажимая нос платком, — старайся. Ничего понимать не понимаю в твоей ботанике, но позову лучшего профессора тебя учить. Сама ничему не обучена, но ты у меня непременно ученым будешь».

Так он ни в чем не знает отказа, но еще не чувствует себя ни мужчиной, ни взрослым: его, автора «Польки» и смелого исследователя по части йодистого этила, до сих пор переводит через улицу фрейлейн. Ростом он с дверь, темнеет под носом губа, срывается голос. «Тетушка» — звучит теперь нарочито, чтобы молодить красавицу-мать. И вот у него появляется товарищ.

Первое знакомство было схваткой — в вихры вцепившись, они катались по полу, стараясь тумаками оглушить друг друга. С подбитым глазом, с окровавленным носом они потом поклялись друг другу в вечной дружбе.

Его звали Миша Щиглев, он жил в Царском, а учился в Петербурге, и не стоило почти никакого труда уговорить «тетушку» взять к себе Мишу.

Оба стали учиться игре на фортепиано, оба, обгоняя друг друга, завязли в науках. Но Миша больше склонялся к музыке, а Саша — к химии, и иногда вечером, когда оставался час до сна, надо было выбрать: играть ли в четыре руки Бетховена или сесть за пробирки? Надо было выбрать, а он никак не мог этого

сделать. Перед финалом «Восьмой» вдруг пойдет любоваться на то, как что-то там «киснет» у печки. «Да ты куда же пропал? Эй, химик!»

Он, с надменным лицом, выходит — стройный, возмужавший за этот год, с чем-то сосредоточенным во взгляде длинных, к низу разрезанных глаз. Сосредоточенность его от рассеянности: Луизхен однажды поймала его в подъезде — он вышел без брюк.

На фортепиано он играл с Щиглевым; самоучкой научился игре на виолончели; ночами просиживал над биологией Вюрца, а когда наступала весна, сдавал и сдавал экзамены (экстерном, мать не допускала его в классы). И все это был уже не детский, но все тот же крепкий рай, душивший его радостью: кругом было счастье — и шлянье куда-то к щиглевским родственникам на квартет (виолончель в байковом мешке за спиной, Миша шагает рядом, под мышкой — скрипка в газетной бумаге), и слова учителей о будущем его, об университете, об академии («Вам, Бородин, все открыто. Таких, как вы да Менделеев, в России немного») — в 14, в 15 лет. В 16 — мать записывает его «купцом третьей гильдии» и он поступает в академию, но одолевают концерты, опера, и не хватает долгой петербургской зимы, когда он в длинной, ловко сшитой шинели, с обожженными кислотой пальцами, непременно забыв что-нибудь по туалетной части, спешит куда-то, в буран, на лекцию профессора Зинина, — а в мыслях уже поет «соло для флейты».

— Бородин, поменьше занимайтесь романсами, — скрипит Зинин, — вас ожидают большие труды по алкалоидам, а вы все выводите ваши нотки. За двумя зайцами погонишься…

Это правда, правда! — твердил он себе, но невозможно пропустить премьеру новой оперы Серова (событие!), немыслимо не пойти на щиглевский очередной квартет, на концерт приезжей знаменитости, нельзя не проиграть еще и еще раз увертюру «Руслана».

Теперь не только весь дом, но и сам он «провонял»; от него несло просто-напросто анатомическим театром. Вольнослушателем — ему было всего шестнадцать лет — он поступил в медицинскую академию. Еще рано было решаться: на медицину или на химию? Жизнь катилась, несла его. Что такое было *время,* он не сознавал, ему всегда его было достаточно, никто никогда не видел его спешащим, а успевал он лучше и больше всех. Время текло, увлекало куда-то — в молодость, к новым людям и книгам. Иногда оно вдруг останавливалось: сели, например, за бетховенские квартеты как-то вечером (он — на виолончели, Щиглев — альт и еще два приятеля), сели в 8, а опомнились к вечеру следующего дня: что-то иногда брали

пожевать с тарелок в столовой, запивали теплым пивом, остывшим чаем. А с календаря слетел листик — и что за это время случилось в лаборатории, о том лучше было не думать!

Как змеиная шкура слезало с него детство. Из женского окружения уходил он к мужчинам-товарищам, к студентам. Он был на редкость и удивление здоров, он был хорош собой, высок, с чуть-чуть сонливым и высокомерным выражением правильного лица. Женщины не беспокоили его, мать заблаговременно наняла по своему вкусу молодую горничную, Анну Тимофеевну; она была в доме, под боком, и ему незачем было искать бурь сердца.

Так наступала его юность, и уже, конечно, не было на свете человека счастливее его. Если кто-нибудь когда-нибудь намекал ему, что знает что-то о темном его происхождении, он не обижался, а ясно и просто объяснял все, как было. Если кто-нибудь в чем-нибудь (что бывало редко) опережал его — он радовался от всего большого и живущего полнотой сердца за соперника. Его тянуло к знанию, к искусству, его влекло к цельной жизни, которой он был частью, — цельной и прекрасной; некоторые товарищи, увлеченные модными романами, читатели Достоевского и Некрасова, с недоуменным восхищением и страхом всматривались в него.

А он вспоминал порой тот вечер, те сумерки, когда он слышал шепот прислуги о том, что «тетушка» могла его «скинуть». «И я мог не быть? — спрашивал он себя. — Так же звучали бы Гайдн и Мендельсон в мире; так же цвели бы эти розы в саду; так же весной ломалась бы и билась в льдинах Нева возле академии, под мостом, а я мог не быть?.. Нет, я не мог не быть!.. Не мог…»

II

Карета, запряженная шестеркой еще вполне бодрых, но несколько облезлых кляч, тронулась по Петергофскому шоссе, держа путь на Ямбург. Два пассажира дремали внутри, два — снаружи, на высокой скамеечке, скрытые, впрочем, от мелькавших красот северной природы кожаной занавеской. Кондуктор время от времени трубил над ухом в рожок, и тогда все четверо дремавших приоткрывали кто — один глаз, а кто оба глаза, произносили невнятное ругательство, мысленно проклиная и рожок, и жесткую скамейку, и погоду: дул сильный ветер с моря, и медленно бегущее время разматывало все тот же перед глазами плоский, туманный горизонт.

Внутри кареты сидели два немецких купца, ехавшие в Гамбург и Магдебург. На скамеечке, подле кондуктора — Бородин и некий молодой, подающий надежды ботаник. На шестые сутки, в Кенигсберге, наконец, все четверо сели в вагон железной дороги, а когда настал час разлуки, то даже как-то жаль было расставаться со спутниками, с которыми было выпито не мало кюммелю и съедено все, что было дано в дорогу «тетушкой» и «маменькой» (маменькой Бородин называл ту самую горничную, которая была взята в дом для его молодости).

Съедено, выпито, спето немало (в четыре голоса) немецких песен. Рассказана была друг другу вся жизнь. Ему рассказывать было нечего, жизни он, в сущности, еще и не видел, но ему было весело думать, что она впереди. Он теперь, ординатор Второго сухопутного военного госпиталя, ехал в Гейлельберг усовершенствовать свои познания в химии.

Профессор Зинин куда больше него заботился о его будущем. Его увлечение медициной смущало Зинина — он возлагал на Бородина большие надежды; в Гейдельберг он посылал его, считая, что Менделеев и Сеченов, молодые химики, близкие друзья Бородина, сумеют его целиком завязать в узел своих работ, оторвав его от практической медицины. Если бы Зинин знал! Но что же именно? Ведь Бородин и сам еще ничего не знал о себе, только то, пожалуй, что было еще что-то третье, что отчасти *мешало* и химии, и медицине. Это третье называлось «любимым досугом» — да, да, только и всего, но без него ужасно как тошна становилась его молодая, счастливая, какая-то гладкая жизнь. «Любимый досуг» не мог, конечно, стать делом его жизни: десять лет потрачено на другое, и что люди скажут? Ему 25, его уже знают в Париже, в Генуе, о Германии нечего и говорить. Его работами над бензоиланилидом заинтересовался недавно сам

Шюценберг. «Любимый досуг» должен остаться досугом, но отчего так тревожит мысль, что не все рассуждают, как он, что есть люди, которые ломают судьбу, губят «карьеру» ради этого «досуга», делают его целью всего?

Тревожит мысль, не дает спокойно думать о гейдельбергском будущем ни в мальпосте, ни в поезде. Не зависть — этого греха он не знает, да и кому может он завидовать? — но какая-то смесь смятения, недоумения охватывает его при воспоминании об одной встрече (в гостях у доктора артиллерийского училища Ивановского), вернее — о двух встречах с одним офицериком. Никогда никто не говорил с ним так о музыке, вообще так не говорил, не играл ему такого, не смотрел так странно мимо него, словно зная что-то, чего он не знает.

В первый раз — на дежурстве. Хлыщеватый, совсем молоденький. Говорили, курили, послали за пивом. Потом начались разговоры — о Мейербере, о чем-то еще. «Хорошая вещь — музыка, но не ломать же из-за нее жизни?» Оба согласились на этом.

Во второй раз: «Э, батенька, да мы с вами встречались». Но перед Бородиным был уже другой человек: его звали так же — Мусоргский Модест Петрович, и те же были глаза, и те же нервные руки, но то, как взглянул он, как отошел, как потом вернулся от кудахтающих дам (просивших вальса), как отказался играть и как вскользь бросил: «Да, я вышел в отставку, да, я все сломал. Я решил быть композитором», — было ошеломляюще новым. Бородин тихо попросил: «Так сыграйте же что-нибудь свое». Усмешка: «Да вам будет неинтересно! Скажите лучше, вы такого Шумана знаете?» Нет, Бородин о таком не слыхал. «Ну, так послушайте!» И это тоже было ошеломляюще, и каждое слово, каждое движение «отставного» будило в Бородине сумбур влюбленности, восторга, любопытства, желание сделать что-то, чтобы удержать при себе эти речи, эти звуки, весь стройный облик небрежного, вероятно, совершенно равнодушного к нему человека.

«Послушать бы еще», — думал Бородин о Шумане, вспоминая, как Модест Петрович сидел за фортепиано и как после Шумана начал что-то свое, такое новое и чужое, и сейчас же бросил. «Послушать бы!» Но Гейдельберг стлал перед ним тихие, ясные улицы: было утро; немки мыли швабрами дома; студенты в разноцветных кепи шли ему навстречу.

— Герр Менделеев? — спросил он, конфузясь, у толстой хозяйки пансиона. А Дмитрий Иванович, в широкой блузе, лохматый, гологрудый, уже неуклюже бежал к нему, разверзая объятия.

Нельзя ли в баню? И его повели в заведение, где вместе с мылом и мочалкой можно было взять напрокат музыкальный инструмент. Вечером того же дня ему из бани привезли на дом фисгармонию.

«Будьте спокойны, душенька, я не женат, — писал он через несколько месяцев матери (была нежная, солнечная весна, все цвело, благоухало, сверкало), — я не женат и уж если очень приспичит, сиречь, если майский воздух и хорошая погода напомнят о том, что «всякое дыхание» и пр., так у нас под боком — Франкфурт. Четыре гульдена (и дешево, и сердито)».

Но за платною любовью он не выезжал.

День его начинался рано, он вставал в 5 часов, гулял, работал в лаборатории до обеда, после обеда опять работал и вечером шел в гости в русское семейство, где собирались русские гейдельбергцы, — уж очень там была «милая барыня», а особенно милая к Бородину: помадила ему голову, повязывала галстук. Там музицировали, ставили живые картины, беседовали до ночи; там составился даже квинтет, где он играл на флейте. С Сеченовым они вместе нажирались вишен — по шести фунтов в день, объедались простоквашей…

— И это все? Ох, какие же вы здесь провинциалы! — не выговаривая букву «л», воскликнула Катя Протопопова, близоруко щурясь, играя зонтиком. О ней, только что приехавшей, уже бежала по Гейдельбергу слава: замечательная пианистка, девушка, слышавшая «абсолютную тональность». О ней бежала слава, но и слава Бородина дошла до нее — слава будущего великого химика, весельчака, красавца, лучшего гейдельбергского жениха.

«Что же вам сыграть?» — обычно спрашивала она, усаживаясь за фортепиано и поворачиваясь миловидным лицом прямо к нему.

— Того самого, — отвечал он, и она играла того самого Шумана, а он «чумел» от восторга.

— Знаете, матушка Катерина Сергеевна, — говорил он потом, — ведь вы мне с вашим Шуманом спать не даете, — а она смеялась, покашливая, и требовала, чтобы он шел с ней на Schloss. Хорошо, он шел на Schloss; перепрыгивая через канавки, он ждал, что она попросит подать ей руку, но она не просила. И вот однажды (работа о бензидине была дописана) они сидели в пивной, у Вольфсбрунна. Был летний день; в бассейне играли форели; до этого они катались на осликах и теперь собирались пешком возвращаться домой. Он рассказывал ей какую-то чепуху, смешил ее и думал, что она есть сочетание всего, что есть хорошего на свете: и этого дня, и музыки, и всей радости, которая

только возможна. Но она, нахохотавшись вдоволь, вдруг сделалась серьезна: «Вы должны бы узнать не только Шумана да Шопена. Вы должны бы по-настоящему заняться музыкой. Ну, хорошо, я понимаю, вы человек ученый, вам все остальное пустяки…»

У нее был хороший вкус в музыке; ее учитель — ученик Листа — открыл ей современных музыкантов. Она была нервна, хороша собой, со слабыми признаками туберкулеза, с ясными поисками совершенства, с отчетливым чувством власти над тем, кто должен был стать ее мужем, с немного истерической требовательностью к нему. Но во многом она была с ним доверчиво и безоговорочно согласна, например, в том, что в свадебной процедуре есть что-то «пошленькое и натянутое», в том, что быть женихом и невестой — «глупо и неловко». Она была не совсем обыкновенной барышней, она в Москве обучала музыке дворянских дочек, и среди ее друзей был Аполлон Григорьев, писавший ей длинные, пьяные письма.

Он слушал ее рассудительные речи, ему было так хорошо, как никогда; если бы она вдруг смолкла, может быть, ему было бы еще лучше. Хорошо было бы иметь ее всегда при себе, с ее разговорами и ее молчанием, с ее улыбкой, с ее шепелявостью… «Сергеевна, дорогая голубушка, — сказал он тихо. — Я сейчас скажу вам что-то страшно смешное. Приготовьтесь: будьте вы моей женой!.. А больше ничего».

Накануне у нее шла горлом кровь, он это знал, но ведь для чего же и существует Италия? Хорошо, она согласна ехать туда, и чтобы он ехал тоже (работать в Генуе). Она согласна лечиться. Она согласна… нет, подождите, не на то, что вы думаете. Это так скоро не делается.

На обратном пути через канавку он вышиб из ее руки длинный, с серебряной ручкой, голубой зонтик и обнял ее. «Сейчас сию минуту жениться. Нельзя? Простите. Извините. Нечаянно… Маинькая, маинькая», — говорил он, передразнивая ее недостаток речи. Она смеялась, клала руку ему на руку, смотрела в лицо. Он повел ее к себе и почему-то показал большой бельевой шкаф у себя в комнате — от смущения и счастья он не знал, что предпринять.

Румяный, высокий, слегка за этот год пополневший, в пикейном костюме и таком же галстуке, он долго ночью гулял по берегу реки. Ему пришла в голову тема, он несколько раз напел ее про себя. Она немного напоминала тему Тангейзера, недавно слышанного в Магнейме. Но записать этого он бы не сумел. Он заспешил домой, чтобы наиграть ее. Вот она (он уселся за фисгармонию), но что же я с ней дальше делать буду? Куда ее

дену? Что из нее сделаю? Как заставлю существовать?.. Э, там видно будет. Видно будет, как вообще сложится все — и как это у меня будет жена, «профессорша», и зининская кафедра, и чем кончится давний, горячий с Бутлеровым спор…

«Мне нисколько не странно, что ты будешь моей женою, что мы будем *совсем* вдвоем. Все это как-то очень естественно», — говорил Бородин невесте, и правда, когда в его квартире в академии, где он теперь жил, появилась Катя — Зозо, Клопик, Кокушка, Любовка, Пуговица, Пип, Мозойка, Синенькая, Точка, как он называл ее, — ему показалось, что она давно-давно тут, в пыли его бумаг, в пару его колб, за его старым, скверным фортепиано, в свете газовых рожков, в беспорядке и уюте его безалаберной и трудовой жизни.

Она немного боялась всего этого: постоянного присутствия каких-то студентов, просителей, девиц, неустроенных родственников, кухаркиных кумовьев, ночевавших в коридорах, на полу в столовой, на лестнице. Она много и попусту беспокоилась: о хозяйстве — хотя вовремя никто не обедал, о гостях — хотя все здесь считались своими. У нее был вечный страх: кривых потолков, воров, собак, воробьев, тараканов, пьяных мужиков, трезвых мужиков, грозы, простуды, баб, разбойников, темноты и многого другого. Но она была счастлива его счастьем, полна его полнотой и в вечной своей нервической хлопотливости, в каких-то предчувствиях, знала, что вошла в жизнь человека, кроме этой именно жизни не любящего ничего.

III

Милий Алексеевич сидел посреди гостиной в плюшевом кресле, сложив руки на животе; круглые, умные глаза его на русском, в густой бороде, лице смотрели горячо и строго. В плюшевом кресле против него сидел тоже бородатый громадный человек, с львиной гривой и пронзительным профилем, в модном низком воротничке и том галстуке, который так любил писать Крамской, награждая им и Гончарова, и Боткина, и самого себя. Это был Стасов. Бородин его знал, не мог не знать: его знал весь Петербург; его всюду можно было слышать (обладал могучим, глубоким басом); этот человек, в молодости знававший Глинку (а в старости — Скрябина), уместил в своей жизни всю историю русской музыки, почти целого столетия. Третьим в этой плюшевой гостиной был неопределенного возраста военный, Цезарь Антонович Кюи, тоже музыкант, и, наконец, в углу, облокотившись о фортепиано, запустив всю пятерню в густую шевелюру, стоял еще кто-то: не два, но три года прошло на этот раз, как они не виделись, и опять его нельзя было узнать: хлыщеватый офицерик, превратившийся тогда в франта-штатского, сейчас смотрел завсегдатаем пивных с Офицерской улицы; да, это был все тот же Модест Мусоргский, но обрюзгший, с выпученными глазами и большими, бледными щеками, в несвежем белье, в цветном жилете, засыпанном папиросным пеплом.

«Собрались мы тут, — говорил Балакирев, — чтобы вы познакомились с нами». (Так приблизительно вспоминал Бородин его речь, когда на следующий день рассказывал Катерине Сергеевне про этот вечер.) «Собрались все, кроме одного — милого нашего, талантливого (Стасов громыхнул: гениального!) Корсиньки. Он в плавании, моряк. Но мы вам его сыграем — и это будет как бы восполнением (Стасов: и каким!) его самого».

Слуга зажигает свечи у фортепиано. Старенькая покрышка (тоже плюшевая) складывается, и поднимается громадная, лаковая крышка. Мусоргский садится на примо, Балакирев на секондо; Кюи, поправив пенсне, складывает на коленях сухие, узловатые руки, и Стасов, тяжко скрипнув креслом, поворачивает громадное ухо к фортепиано, предвкушая «нечеловеческое блаженство», перед которым «Вагнер — ерунда».

Эти вечера стали для Бородина чем-то упоительным, счастливым, до душевного потрясения необходимым; после них он возвращался домой, как пьяный, садился за рояль, сидел по десяти часов, все что-то наигрывая, обдумывая, припоминая. «Ах,

да не смотри ты на меня, охота глядеть на поглупевшее лицо!» — кричал он, когда Катерина Сергеевна удивленно поднимала брови: ты еще не ел? ты еще не спал? Он просил ее остричь ему ногти (сам не умел, стриг «городками») и опять возвращался к роялю. Потом посылал за нотной бумагой, брал карандаш и рисовал в левом верхнем углу тонкий дискантовый ключ без нижнего хвоста. Но все то сложное, смутное, трудное, что билось в мыслях, не умело вылиться на бумагу. «Так нельзя. Нельзя. Милий Алексеевич, батенька, поучите вы меня грамоте немножко! Поучите адъюнкт-профессора химии медико-хирургической академии музыкальной грамоте. А то страсть темнота заела…»

Это были не настоящие уроки, но какой-то оттенок «класса» придавало им то, что учеников у Балакирева было двое: Мусоргский приходил к нему за тем же. Но Балакирев не учил, он только объяснял «форму музыкальных сочинений» да старался, чтобы испарился из Модеста уж очень «крайний» дух, а из Александра Порфирьевича — мендельсонизм. Западничество Бородина приводило Балакирева в отчаяние, особенно же он сердился, когда Бородин принимался уверять, что даже «международный язык между славянами есть язык немецкий».

В том, как перерождался вкус Бородина, как от немцев, которых он в последний год так хорошо узнал, он шел к тому, к чему толкал его круг людей, в который он на тридцатом году жизни попал; в том, как он уходил к какому-то своему собственному востоку, было что-то таинственное и такое упорное и неизвестно откуда идущее, что Балакирев не мог объяснить это ни себе, ни Стасову, ни вернувшемуся из плавания Римскому. «Вы услышите, вы сами услышите!» — говорил он «Корсиньке», — это — химик, это — медик, профессор, в эполетах ходит по торжественным дням. Почтенного возраста, с брюшком изрядным. Про себя говорит: «я композитор, ищущий неизвестности…» И опять с Модестом Петровичем садится он за фортепиано, опять горели свечи, отражаясь в Лаковой крышке Беккера; слуга останавливал часы, чтобы не били. И аллегро первой бородинской симфонии звучало в плюшевой гостиной. Римский сидел и слушал. Слушал себя самого и Бородин — он плоховато играл на фортепиано и не мог сесть ни за примо, ни за секондо.

Аккуратная карандашная рукопись, вымазанная яичным белком (чтобы карандаш не осыпался), высушенная, как белье, на веревке, протянутой в гостиной (окна — на Неву, через которую, на ялике, если разведен деревянный Литейный мост, переправлялись к нему Римский, Мусоргский, Балакирев, Кюи); аккуратная, детским почерком исписанная рукопись, исправленная Балакиревым, стояла на пюпитре. Сегодня — это

был уже романс, и второй лежал тут же. «Ужасно много сочиняю. Прямо страсть! Ты бы запретила мне», — говорил он жене. Их пела теперь старшая Пургольд, Александра, а Надежда аккомпанировала ей, и слушал Даргомыжский, в распахнутый ворот рубашки была видна его худая, темная грудь.

Потом пели «Каменного гостя», и Стасов стонал от какого-то слезного восторга; а после ужина — что-то, что принес Мусоргский — «Женитьбу» Гоголя, без либретто, прямо, как есть, немного страшно, немного дико. «Далеко вы хватили!» — сказал Бородин, с котом на плече, другим на голове и третьим на коленях, от волнения снимая за загривок сидящего на голове и сажая его среди стола, накрытого к чаю. Кот обнюхал сахарницу, молочник, загляделся на самого себя в самовар. «Эка загнули», — повторил он, а Мусоргский, певший Подколесина (Даргомыжский пел Кочкарева), разводил руками.

В другой раз — это была «Псковитянка», разученная тут же, еще в другой — «Ратклифф». Кто мог — пел, кто умел — аккомпанировал. И эти вечера — то у Пургольдов, то у Кюи, то у Бородина, были сделаны из того же труда и вдохновения, из которых были сделаны те дни, когда каждый писал у себя, играл для себя, думал про себя.

«Вы пишете ночами? Когда все спят? Или утрами, когда свежая голова? Или вы предпочитаете днем, между лекциями? Или, может быть, вечером, когда особенно поэтично вдохновение?» Он, смущенно улыбаясь, слушал эти вопросы: он сам не знал, когда он пишет, напишет ли что-нибудь, выкроится ли само собой время для этого? Ночь давно уже была превращена в день. Катя страдала бессонницей, мучилась астмой часов до пяти утра. Он, поставив ногу в старой, вышитой какой-то влюбленной в него дурой туфле (имен он никогда не помнил) на левую педаль, придумывал что-то. Симфония, первая симфония в Es-дуре. Говорят — хорошо, а кто его знает, что выйдет, и выйдет ли что-нибудь?

Квартира, полная неимущих родственников (его и жены), пригретых проходимцев, болеющих тут же и даже сходящих с ума, населенная котами всех мастей, у которых, у каждого, своя биография, имя, отчество и фамилия, квартира из четырех комнат, вечно ремонтирующаяся, с испорченной канализацией, дурно пахнущая, полная тараканов и клопов, которых время от времени морят, и крыс, на которых махнули рукой, предоставляя единоборство с ними кошкам, эта казенная квартира, вместившая кое-как его библиотеку, его лабораторию, едва вмещала в себе его музыку.

— А что мы сегодня, обедали? — спрашивал он «Коко»,

«Мозойку», «Сопика», вечно простуженную, но из какого-то непонятного упрямства ходящую босиком (говорят — это полезно). — Обедали? Ну, значит, я уже привык обедать и могу пообедать во второй раз.

Корсаков входил со строгим лицом, хмуря брови:

— Милий Алексеевич знать вас не хочет. Написали, наконец?

— Написал. (Оказывается, вовсе не коду, а какое-то письмо.)

— Переложили?

— Переложил. (С фортепиано на стол.)

— О, Боже мой! — теряет Корсаков терпение. — И когда только вы перестанете переливать из пустого в порожнее (намек на газы в колбах) и займетесь своим настоящим делом?

— Это каким же, чудак вы эдакий?

Но воздух бородинской квартиры отравляет каждого, кто сюда пришел, и Корсаков, пообедав в одиннадцатом часу ночи, сыграв и кое-как спев второй акт «Псковитянки», остается ночевать. А на дворе уже светает.

Падает легкий снег на льдом остановленную Неву; серый воздух жемчужен и свеж. На другом берегу горит, как капля, керосиновый фонарь. Порожний извозчик дремлет, заиндевелый, у моста…

Es-дурная симфония была кончена. И Балакирев на концерте Музыкального общества дирижировал ею в январе 1869 года.

«Некто Бородин», — писала критика (а в публике одни шикали, другие старались вызвать автора — говорили, что он красив собой и ходит в генеральском мундире). «Некто Бородин, пишущий шваброю…» А он после концерта, стыдясь знакомых профессоров и студентов, удивляясь, как много, несмотря на его неповоротливость, на его лень, с ним в жизни приключается, пытаясь спастись от каких-то дам, жал руки Балакиреву, благодарил, падал в объятия Стасова, выслушивал от Мусоргского какие-то увесистые, горячие слова.

— Бедный Дарго, — сказал кто-то, — завтра с утра поехать к нему рассказать…

Даргомыжский, в своей пустой квартире, один, волнуясь и ожидая, умирал в тот вечер от сердца.

Он знал, что будет концерт. Он ждал, что к нему придут, пусть поздно, расскажут ему, но все пятеро вместе дошли только до его дверей (был час ночи) и, поспорив о том, его ли окно светится или не его, разошлись. Он ждал долго. Свеча горела в комнате, старая кухарка, глухая, сонная, бродила вокруг его постели. Он ждал. Он сознавал, что жизнь его кончается. В сущности, она уже кончилась для него в тот день, когда он выдал свою Любочку за господина Энгельгардта. Любочка была моложе

его на тридцать лет и надо было ее устроить. Он это и сделал. Жизнь кончалась и теперь, вспоминая всю ее, мгновенно проносясь по ней памятью, он видел свет в ее начале и свет в ее конце, в середине был мрак: бедность, труд, скитания, обиды. И только встреча с Глинкой на заре этого темного пути озаряла все, перекидывала мост к последним годам, к поколению этих пяти, этих новых, пришедших к нему, в его старость, в его забытость, с любовью и почестями. «Кажется, стучат!» — крикнул он сонной бабе, дремавшей на стуле. Но никто не стучал. Неужто не придут? Не расскажут? Не простятся с ним?

Январский жемчужный рассвет припал к окнам, делая ненужной последнюю свечу. Так он умер, написав на обложке какой-то книги: «Кюи и Корс, пускай все мое разберут». (Это — о черновиках «Гостя».) Корсаков и был первым, кто явился в то утро с подробным рассказом о вчерашнем — все-таки, был успех. Александра Порфирьевича вызывали после скерцо…

Труп старого, немощного человека обмывали в спальной, и Корсиньке в прихожей пришлось подождать.

IV

Проломав два простенка, на веревках из Зоологического музея спустили слона. Приехала гостить «тетушка». Кошка Машка окотилась шестью котятами. Ко всем событиям домашней жизни Бородиным делались рисунки цветными карандашами, сочинялись песенки, писались вирши. Домашняя обстановка, с распущенной, вороватой прислугой, с воспитанниками, племянниками и просто гостями, располагала к ничегонеделанию, к сидению в старом халате, с «косой» давно не стриженных волос (а над лбом уже сквозила порядочная плешь); к питию чая (по девяти стаканов); к разговорам на вечные темы — о болезнях и невзгодах, приключающихся с многочисленными родственниками Катерины Сергеевны и его. Были и другие заботы: неурядицы в академии, баллотировка в совет, студенческие брожения, не прекращающаяся (в течение пяти лет) перестройка здания академии. После многих просьб кабинет сравнительной анатомии убирали подальше от квартиры; после бесчисленных хлопот он добился: упорядочили канализацию, и печи меньше дымят, и сырости меньше, и только крысы никак не хотят покинуть этот старый, холодный, в невские наводнения рушащийся дом.

Тесная, темная столовая собирала каждый вечер разнообразный люд. «Тетушкин» последний возлюбленный — господин почтенных лет, с бакенами, сидел здесь (а она, хоть и играла еще на гитаре и даже иногда приплясывала, но уже всерьез говорила о богадельне); несколько неопределенного возраста двоюродных и троюродных сестер, где-то служивших гувернантками; молодые химики; скрипач, жаждавший консерваторской стипендии; две-три барышни-химички и совсем молодая, очень бледная женщина, только что похоронившая ребенка, говорящая о равноправии, о женском высшем образовании, в прическе и повадках подражающая Полине Сусловой.

Ее место было на скамеечке, у ног Бородина. Большими больными глазами смотрела она в его лицо. Ей было двадцать лет, ему — под сорок. «Как дочь, как сестра она мне, матушка!» — говорил он Катерине Сергеевне; та ходила по комнатам, без конца курила, всю ночь не спала после ухода гостей. А когда на следующий день Аня приходила опять и снова садилась у ног и при всех целовала Бородину руки, Катерина Сергеевна с любезной улыбкой, выжатой на измученном лице, говорила, что, действительно, они с Александром Порфирьевичем могли бы

иметь такую дочку.

Анна Николаевна Калинина была женщина в самой ранней юности воспламенившаяся «идеями», но потерявшая здоровье при родах и равновесие после смерти ребенка. Ей грозила слепота, она болела падучей, после нескольких операций у нее отняли надежду иметь детей. Возникший в России вопрос о женском образовании разбередил ее, встреча с Бородиным, захваченным в те годы открытием женских врачебных курсов, разрушила последний остаток ее спокойствия.

Она приходила в закрытом черном платье, еще более подчеркивавшем ее экзальтированность, садилась на полу и просиживала весь вечер, положив голову Бородину на колени. Сначала это смущало его, через некоторое время он привык. А еще через месяц он почувствовал, что в том, что он любим этим взбалмошным, неуравновешенным, вкрадчивым существом, есть какая-то разрушающая его жизнь прелесть.

«Между чувством моим к тебе и к Анке громадная разница, — говорил он жене. — Тебя я люблю, как мою жену. Ее же люблю, как девчонку, милую, душевную, которой я могу (и даже должен) сделать как можно больше добра, которая нуждается во мне, как в точке опоры для выхода из своего рабского состояния».

А в это время Катерина Сергеевна, кусая носовой платок, сверкая глазами, переходя от злобных слов к истерическому отчаянию, хватала первую попавшуюся корзину и начинала укладывать в нее, что подвертывалось под руку: ехать к матери, в Москву.

«Она не переносит петербургского климата, — говорил Бородин все три года, которые она прожила в Москве. — Эти туманы, эти ветра наши…»

В одиночестве у него было время подумать о том, что с ним происходит.

«Пойми, — писал он в Москву, — что Анка ведь не любовница же мне, не жена; если у нее и вырвалось однажды желание ждать заграницей времени, когда я буду свободен, так пойми ты, что это ребячья надежда, за которую она ухватилась, как девочка, не имевшая духа прямо сознаться себе, что с отъездом за границу всякая надежда, в сущности, лопнет. Пойми, что в отношениях наших ничего нет не только чувственного, но и страстного. Когда я бываю с ней, я совершенно спокоен, ни одна грешная мысль не западает мне в душу. В ее обществе я освежаюсь».

«Я люблю любоваться ею, люблю ее тоненький, детский голосок, ее светлые глазенки, которые оживляются, когда она меня видит, люблю даже, когда она соберет нос в сборку. Грешный человек, люблю даже, когда она иногда поцелует мне

руку, что она делает так просто, естественно, бесстрастно, что я не испытываю, что в эти минуты испытывает мужчина от ласки любимой женщины. Она говорила мне: виновата ли я, что вас так сильно люблю? Встретив такое сокровище, нельзя не любить его!»

Никогда в жизни, ни в чем не делал он первого шага. Но если кто-нибудь толкал его, он шел и обратно уже не возвращался. На химию его толкнула «тетушка», к музыке вызвал Балакирев, и Катерина Сергеевна влюбила его и женила на себе, и обычно, когда они расставались, она, всегда ревнивая и беспокойная, не говорила ему: «Я боюсь, что ты увлечешься, я боюсь, что ты мне изменишь», она говорила: «Я боюсь, что начнутся атаки». Атаки бывали — и прежде всего потому, что он нравился всем — и сверстникам, и студентам, и музыкантам, и детям, и женщинам, встречавшимся с ним. Атаки бывали. «Но я — ни-ни», — сообщал он обыкновенно в письмах. — «Понравился ужасно, прельстил несколько особ», — признавался он иногда, но отсутствие в нем каких бы то ни было сильных страстей и нежелание их искусственно вызывать, оставляли его равнодушным, безучастным к тем чувствам, которые вызывал он. У него не было времени. Не было пыла. С женой сложились отношения так, что он выбалтывал ей о себе все: где был, что делал, кого видал. Что-либо скрыть, о чем-нибудь солгать было бы для него слишком сложно.

Но Анка его трогала. «Только бы все оставалось по-прежнему! — молился он, — да чтобы Катя поняла, что никто не грозит ее интересам». Анка восполняла то, чего не хватало ему в жизни — преклонения молодости не только перед ним как ученым, перед ним как музыкантом, но перед всей его личностью, которую Анка вдруг нервно и порывисто угадала. Но именно от этого-то и разладился в конец домашний быт. Он теперь ночевал по знакомым.

То — «сияя амуницией», в мундире, и «при орденочках», на каких-то официальных академических приемах; то — в сюртуке и брюках английского трико, с галстуком на пружине, в шубе и барашковой шапке, делавшей его похожим на отца, князя Гедеаношвили; то в куртке из Манчестера, обшитой тесьмой, огромный, плотный, с сильной проседью в бороде и лысиной, он кочевал по Петербургу. Сегодня заночует у «тетушки», завтра у приятеля (а жена приятеля заштопает ему что-нибудь из белья); потом — где-нибудь в чужой, нетопленной квартире (а руки мыть утром приходилось бежать в академию). Почему не дома? Там ему было непереносимо: без Кати грубила и крала прислуга, ремонтировался (почему-то без конца) коридор, и Анка, «как дочь», «как сестра», приходила со своими галлюцинациями

ночевать, пользуясь тем, что у него в квартире нечто вроде странноприимного дома.

Он потерял прежнюю свою способность жить, ему не хватало привычной власти над ним, твердой воли, Катиных замечаний, окриков: того нельзя, это неприлично. Нельзя мыться голым (а он это любил) и вытирать руки личным полотенцем. «В баню собираюсь с незапамятных времен», — говорил он теперь грустно, и люди шептались о том, что он стареет.

Когда он возвращался к себе сменить белье, взять какую-нибудь книгу, то рассуждал сам с собой вслух о том, что несмотря на невыведенных крыс и разбитое в окне стекло, Катя, собственно, могла бы уже вернуться: ну кабинета пусть не будет. Ничего. Спать можно в столовой, есть — в гостиной. Так даже лучше. Потом он шел в академию — читал лекции, писал «мемуар» для «Бюллетеней», проверял какие-то хозяйственные счета лаборатории: полотняных тряпок среднего размера — столько-то. Из Германии выписать ртуть… Он возвращался к себе, долго стоял в коридоре, пел на разные голоса: «Простите, извините… Я нечаянно. Нечаянно. Не-ча-я-янно». (Катя, бывало, ворчала, когда он пел в коридоре.) Тут, как всегда, не было ни времени года, ни времени дня — было холодно, сыро, сумеречно. Доносился откуда-то храп пьяного сторожа.

Он входил в комнаты. Вот стояла его конторка, за которой он писал. Стояло фортепиано. Бог с ним! Не слушать Стасова, не слушать никого. Очень уж много говорят они все о том, что он другого в жизни дела не имеет, как сочинять. Носятся с набросками к «Царской невесте», требуют, чтобы он писал, а ему не до «Царской невесты», и разве может он вообще писать оперу? Чудаки! Вот дай бог как-нибудь дооркестровать 2-ую симфонию (он потерял черновики, и неизвестно еще, что будет). От романсов его с ума сходят и Мусоргский, и Римский, а он на них сам же пародии сочинил, и ей-богу ничуть не хуже самих романсов вышло, только слова немножко неприличные, жалко никому спеть нельзя.

Тоска находила на него. Он знал ее причину: его вынули из привычной рамы, в которую когда-то вставила его судьба. Анка с ее причудами, с ее обожанием, от которого все чаще становится неловко, нежелание Кати понять, что это — дочь, сестра, что никого он любить не хочет, что никаких тревог он не ищет.

Он остался в квартире с неделю, в невыносимом состоянии разбитости.

«В одно прекрасное утро раздался звонок. Это была А., — писал он потом жене, потому что не мог не писать ей обо всем, что с ним происходит. — Прежде всего, она справилась о тебе и

сообщила, что одна в Петербурге (без мужа). Затем мы поздоровались, поцеловались весьма кордиально и просто, без всякой страсти. Лицо ее дышало непритворной радостью. Я проводил ее в кабинет. Она начала рассказывать о своих мучениях. Когда она кончила, я, желая, наконец, поставить отношения наши на настоящую почву, выгрузил ей весь запас аргументов и положений, заранее обдуманных и приготовленных давно уже на всякий случай. На глаза мои навертывались слезы».

«Я выгрузил ей что-то о fraternite.[1] Но тут она перебила меня: «Не все ли мне равно: сестра я вам или дочь? Мне хорошо с вами, я ничего не требую и ни на что не надеюсь.» Потом она крепко поцеловала мою руку, прибавив: «Добрый вы мой. Вот что!».

Ее молодость до боли в сердце умиляла его. Он вспоминал, глядя на эту худенькую, много горя видевшую женщину, какие-то образы из своей юности и плакал.

Он плакал долго один, когда она ушла, понимая, что с нею, молодой, замужней женщиной, немолодому, женатому человеку делать нечего, что все это должно пройти, что неисчерпаемый запас нежности, ласки, заботы ему не на кого истребить, что надо вернуть ту, другую, всегда больную, всегда всем недовольную, состарившуюся так рано, и все-таки верно любимую женщину, не позволить ей приехать в «номера», а самому ехать за ней. Он открыл окно, потом вторую раму, и стоял, и вдыхал весенний, нежный, почти морской воздух, и думал о даче, которую снимет где-нибудь на лето, о неудобном, тесном курятнике с русской печкой, где, наверное, не будет даже инструмента, где Катя будет дышать через респиратор, и все будет так трудно и сложно — каждый пустяк будет заботить и утомлять, где он будет отвыкать от Анкиных порывов, где будет забывать ее, где семейные радости, книги, мысли оторвут его от тоски, введут назад в прежнюю жизнь, которая для него хороша, только одна и хороша — а другой никакой не надо. Ни этих слез, ни мировых химических открытий, ни бурь, ни подвигов, ни «Игоря», которым соблазняет его с недавних пор Стасов.

V

— Блажь… Нет времени… Нет времени для этой потехи! — повторял Бородин, глядя себе на руки, не поднимая глаз на Корсакова, раздувавшего самовар, махавшего длинными руками, как крыльями, сердитого, красного. — Куда мне связываться? Уберите это! — Александр Порфирьевич отодвинул от себя лист нотной бумаги, только что ему принесенной заботливым Корсинькой. На листе было выведено: «Князь Игорь». Опера в 4 действиях А.П. Бородина. — Уберите. Верьте или нет, я совершенно охладел к сюжету.

Прежде всего, это случилось потому, что в Бородине сидела твердая уверенность: оперы ему все равно не написать. Потом было ясно: не такое нынче время, чтобы изображать какой-то эпос, да еще свой. Что бы ни говорили Мусоргский и Балакирев, что бы ни гудел ему в ухо Стасов, подавший ему первую мысль об «Игоре» — не такое время. Они не понимают. Вот и жена говорит:

— Не такое, конечно. Ну кто теперь такие оперы пишет? Надо брать драмы из нынешней жизни… Да и где тебе вообще!

А вечер тот, апреля которого-то числа шестьдесят девятого года, когда впервые пришла эта мысль, мысль о «Слове о полку» — был вечер самый обыкновенный. В гостиной сестры Глинки. Музицировали. Пили чай. Восхищались «Борисом». Был разговор со Стасовым, и Александр Порфирьевич признался, что тоже не прочь от оперы, хоть и пишет сейчас вторую Н-мольную симфонию. И Стасов загорелся, как он один умеет, не спал ночь, думал, нашел, написал к рассвету весь *сценариум,* утром пришел к Бородину и еще из передней, на всю спящую квартиру:

— Есть опера! Есть сценариум! Вот вам для начала Ипатьевская летопись и мой конспект. Остальное — с посыльным из Публичной библиотеки доставлю к вечеру.

«Волков бояться — в лес не ходить», — ответил Александр Порфирьевич, но теперь все это было забыто, и сочиненные куски подстилались под кошачьи опилки, ими закрывались крынки. Это был сон Ярославны, половецкий марш, романс Кончаковны… Он забыл, что еще. Он растерял в уме все, что помнил.

Положительно, его иногда удивляло, до чего близко к сердцу принимают его музыкальные упражнения. С оперой приставали к нему давно; Балакирев навязал ему «Царскую невесту» Мея, и он даже начал что-то и, конечно, бросил. Теперь — с «Игорем»; он буквально стыдится при встречах их испытующих глаз, их вопросов: Ну что? Двинули?

Виноватыми, сонными глазами он смотрит на свои руки,

куда-то вниз, как бывает, когда жена ругает его за то, что он вытерся ее личным полотенцем. Придумали новый способ затянуть его в работу: писать всем пятерым оперу-феерию «Младу» для Мариинского театра, по заказу дирекции, Корсинька пишет, и Кюи, и Модест, и Милий Алексеевич. И вот он садится и пишет тоже. На его долю достался «Идоложертвенный хор Радегасту», надо сочинить его, нельзя дольше откладывать. А после хора он приступает к «явлению теней» и к «страстной сцене», сочиняет в порыве вдохновения («болел насморком — вот и время было свободное») «затопление храма и общую погибель»… «А? Что? Я говорил! — заливается Мусоргский, — он может только по заказу, из-под плетки!»

Но дирекция объявляет, что феерию ставить слишком сложно и дорого, и Бородин остается с «явлением теней» и Радегастом на руках.

Дни лепились в месяцы, месяцы в годы. И тот круг людей, которым Александр Порфирьевич был открыто для всех окружен, круг профессоров и студентов академии, круг русских ученых и деятелей ничего не слыхал ни об «Игоре», ни о «Младе», ни о вечерах у сестры Глинки, ни об успехах Корсакова, ни о медленной гибели Мусоргского, ни о религиозном безумии Балакирева. Этот круг, где Менделеев, Склифосовский, Боткин, Бутлеров считали Бородина своим, где учились у него студенты, где имя его росло, вырастая за пределы России, встречаясь в спорах с именами европейских химиков, этот круг не требовал от него больше, нежели он мог дать. Если «кучка» со Стасовым ждала от него чуда, мучила его своей в него верой, то тут, в аудиториях и лабораториях, сквозь большую к нему любовь и уважение, начинало сквозить какое-то недоумение, которое можно было принять за начало разочарования — не в таланте его как химика, но в нем самом, недоумение перед его равнодушием не только к собственной славе, но и к самой работе. Словно рок тяготел над его открытиями: стоило ему напасть на что-нибудь — безвестный немец или всемирная величина — французский биолог нападали на то же чуть ли не в тот же день. И Бородин только улыбался, когда узнавал об этом, и эта-то улыбка выдавала его безразличие ко всему тому, что его окружавшим людям казалось самым на свете важным.

Рок тяготел… Он сам думал об этом не раз. Думал особенно много в поезде, когда среди лета вдруг вырвался из Петербурга и помчался в Казань, на съезд естественников. Он ехал как ученый, как автор многих печатных работ, как профессор академии, но ведь все знали, что его работа об ангидридах вышла в то же время, когда появилась о том же знаменитая сейчас работа

Шюценбергера; все помнили, как однажды он явился на заседание, чтобы сделать свое сообщение об альдоле, и уже в зале увидел в руках у кого-то только что вышедшую работу об альдоле Вюрца; так встретился он на альдегиде с Кекуле и уступил ему первенство, не споря. «Это чертова музыка мешает!» — думал он, едучи в Казань. И делалось стыдно, как в детстве, когда ловили на шалости, и он давал себе слово «не баловаться романсами».

В Казани — уже полвека университетском городе — «IV всероссийский съезд естествоиспытателей и врачей» был устроен с пышностью необыкновенной, с комфортабельностью, которой могла бы позавидовать Европа. Господам ученым полагался половинной стоимости проезд из столицы и обратно первым классом, помещение у казанских профессоров (душистое мыло на умывальнике и почтовая бумага в бархатном бюваре); икра и стерляди в неограниченном количестве; осмотр кумысных заведений; к завтраку — раки в 7 вершков длиною. Раками, арбузами объедался Бородин, поместившийся в одной комнате с Менделеевым — как когда-то в Гейдельберге. Дмитрий Иванович ходил по утрам нагишом, пил квас и пел душещипательные романсы.

Заседания шли за заседаниями. Доклады читались за докладами. Казанская профессура едва успевала между утренними и дневными собраниями чествовать профессуру столичную тонкими завтраками, с тостами, с французскими винами. Вечерами ездили в театр, на прием к городскому голове, в гостиницу Желтухина пить шампанское, петь «Гаудеамус». А на следующий день — опять доклады, выборы в какие-то комитеты и комиссии, и поздно ночью — пляска камаринской (без сюртуков), кадриль (друг с другом, без дам), мазурка, качание друг друга, «ура», брудершафты. Сперва пили за такого-то как ученого, потом за него же, как за «честного человека» (было много отчаянных либералов), потом за всех вообще, за высшие женские курсы, за женщин как таковых… Разметанные бороды, красные лица, плешивые головы, веселье, стук штиблет, хоровое пение, горячие речи и несущийся в мазурке в первой паре Бутлеров, в пятом часу веселой, пьяной, шумной ночи.

В честь Бородина и его любви к музыке («Да, да, батенька, не отнекивайтесь, мы знаем грешки ваши по этой части») было устроено два квартетных вечера. Нашлись музыканты, Казань ни за что не хотела ударить в грязь лицом. Нашелся некто, кто слыхал про Мусоргского. И растроганного Бородина усадили за ужином между молоденькой телеграфисткой и казанской барыней, многозначительно жавшей Александру Порфирьевичу руку и благодарившей его за сочувствие «женскому делу».

Он вернулся в Петербург. Отчего-то больше всего в душу запали именно эти два квартетных вечера. Играли неважно, и не бог весть что, но все-таки это была музыка, то есть то, что он любил больше всего на свете — и никто, ни Шюценберг, ни Вюрц, ни Кекуле, не могли предвосхитить того, что он в этой музыке делал. Опять набегала на него зима, с лекциями, с женскими курсами, которым отдавал он теперь все свои силы — почти все, потому что кое-что сохранял для себя: по ночам уходил из спальни, где жаловалась на их общую бессонницу жена, садился к фортепиано…

Корсинька приходил — по-прежнему играли в четыре руки, увлекались теперь вместе духовыми, записывали за горничной Дуняшей вологодские песни, каламбурили; часто втроем с Мусоргским вели долгие, одним им троим понятные и нужные беседы, где всем троим было видно, как они расходятся в разные стороны и как опять кое в чем сходятся, неразрывно и таинственно. Опять появились на столе его, между последними диссертациями студентов, книги Тихонравова и Срезневского о древних обычаях славян. «Все, что я написал для «Млады», — не пропадет, — сказал он однажды, — я все это упрячу куда-нибудь». («Вероятно, во вторую симфонию?» — спросил кто-то.) Он уже твердо знал, куда именно. Однажды он пришел к Корсакову вечером, все были в сборе. Стасов, скрепясь, старался вопросительно не глядеть на него. «А вот и хорик», — сказал он, вынимая из кармана что-то сложенное, примятое. — «Владимир Васильевич, не смотрите зверем, я возвращаюсь к «Игорю».

Это был женский хор в половецком стане, а с ним набросок «чего-то дикого — простите, извините, нечаянно, — пляски, вроде лезгинки» — набросок половецких плясок в стане Кончака.

Его едва не задушили в объятиях.

Да, это был праздник. Те два-три десятка людей, которые бывали у Стасова, у старухи Шестаковой (сестры Глинки), уже знали на следующий день эту новость, которую ждали так давно. Знали, что это будет что-то больше похожее на «Руслана и Людмилу», чем на «Жизнь за царя», нечто враждебное и Вагнеру, и итальянцам. Он сам объяснял, как умел, с видимым старанием, что именно хочет сделать. Восток, близкий ему по крови, соблазнял и томил его. Осторожно и медленно возникала сцена Скулы и Брошки, с какой-то бешеной жадностью набрасывался он на фигуру Владимира Галицкого, и манил, и пленял его Кончак и весь половецкий акт. «Самого Игоря еще нет, — писал он в то время, — и увертюры потому тоже нет». И чувство было такое, что никогда и не будет, что все, что сочинилось, случайно сочинилось само и наверное не выйдет ничего, не успеет выйти, но так

хотелось сочинять — и все, что приходило к нему, приходило теперь бурно и внезапно.

Он писал помногу и, главным образом, потому, что много болел. Несварение желудка, ангина, простой насморк удерживали его дома, и у него было время писать. Он научился урывать у жизни блаженные часы, когда звуки, душившие его, наконец находили себе выражение, и он исписывал аккуратно и бережно, не имея настоящей привычки писать ноты, а потому не имея и музыкального почерка, листы нотной бумаги, которые потом исправлялись сообща и Корсаковым, и Балакиревым. Он сидел за фортепиано с компрессом на шее, поминутно сморкаясь, кашляя. Приходили какие-то просители, дамы, студенты, издатели, секретари, бухгалтеры, жалобщики… «Вот был насморк», — говорил он потом, усмехаясь, и ставил на пюпитр балакиревского Беккера «Плачь Ярославны». «Слава Богу, болел расстройством» — и появлялась ария Владимира Галицкого.

И в плюшевой гостиной возмужавший за эти годы Корсинька, по-прежнему аккуратный и добросовестный Кюи, вернувшийся из религиозных одиночеств Балакирев и потерянный, опустившийся Модест Мусоргский слушали эти черновики. И такая подчас детская радость охватывала всех пятерых от того, что, наконец-то, после стольких лет неизвестности и колебаний, рождался «Игорь», что они буйно кричали, и пели, и целовали друг друга, не стыдясь ни слов, ни объятий.

VI

По тихому Веймару, по зеленой Виландплац, мимо бронзовой правой ноги Виландова монумента, вниз по Мариен-штрассе.

— Здесь живет Лист?

Маленький двухэтажный дом с чистым садиком принадлежал садовнику веймарского грос-герцога.

— Герр доктор Лист? Это здесь, войдите. — И Бородин подает свою карточку.

Узкие сени, лестница наверх, крашеная масляной краской. И так стреляют скрипучие ступени под широкой, тяжелой ногой Бородина.

Первая весть о расположении Листа к кружку была получена незадолго перед этим — Лист восхищался музыкой «кучки». Как всегда, не для собственных дел, а для того, чтобы устроить в иенский университет двух молодых химиков — поповича Дианина и одессита Гольдштейна — выехал Александр Порфирьевич заграницу. Из Иены в Веймар прибыл утром на поезде, осмотрел дом Гете, дом Шиллера, дом Гердера, поклонился на веймарском кладбище дорогим могилам. (А Александрушка Дианин и Миша Гольдштейн, оставшиеся в Иене, от нетерпения не знали, что им предпринять.)

— Vous avez fait une belle symphonic![2] — говорит кто-то громко и быстро над Бородиным, и седой, с длинными волосами и острым носом, в черном, длиннополом сюртуке, в черном галстуке, вырастает над ним Лист. Его длинные пальцы изображают в воздухе те такты скерцо, которые Мусоргский называет «плеваниями». — C'est ravisant, c'est ingenieux![3] — говорит он, сжимая крепко тонкой рукой плотную руку Бородина, и ведет его в свой кабинет.

Александр Порфирьевич молчит и слушает быстрый поток французско-немецкой, превосходной, отчетливой речи; перед ним фигура старого аббата, то садящаяся на диван, то шагающая между роялем и этажеркой, мимо трех окон, выходящих в розовый сад.

— Sie sind wohl weit gegangen, sie haben aber nie verfehlt! — кричит Лист. — Никого не слушайте, идите своей дорогой, будьте оригинальны…

Он, наконец, садится; слуга-черногорец вносит бутылки и рюмки. Разговор идет теперь о Корсакове, о Мусоргском. На пюпитре открытого Бехштейна развернут балакиревский «Исламей», и опера Антона Рубинштейна «Нерон» лежит на столике подле рюмок.

— Слава богу, — говорит он, — вы не учились в консерватории. Будущее принадлежит музыке русской, вашей музыке… Мосье Бородин, я слишком стар, чтобы говорить комплименты…

Мотая свое стеклышко, висящее на шнурке, откидывая волосы, в том сплошном спереди крахмальном воротничке, который носил по долгу сана, он двигался с простотой и легкостью по комнате, брал аккорды, останавливался, опять садился, говорил, отчеканивая слова; рот его широко раздвигался, и с силой закрывался, глаза вперялись в собеседника. И речь его лилась обо всем: о музыке, о России, о «Садко», о романсах Кюи, о трио Направника — и опять возвращалась к первой симфонии Бородина.

— Мы должны сыграть ее вместе, — повторил он несколько раз, и Бородин, робея, теряясь, уверял, что играть не умеет, не может, не смеет…

Он ушел под вечер, приглашенный на завтрак, на обед, на «матинэ», на урок с ученицами, на вечер с грос-герцогом. Все приглашения у него спутались. Он вернулся в Иену и мог только сказать своим мальчикам:

— Завтра вы его увидите сами. Завтра он приедет сюда — у него концерт в здешнем соборе.

Концерты в Иенском соборе давались раз в год, причем имя Листа не стояло на афише. Публики аристократической и простонародной набралось много, так как уже весь город знал, что Лист будет играть. Александрушка и Миша забрались в собор с утра, прослушали всю репетицию, видели приезд Листа, и как очумелые, спотыкаясь и падая, бежали за ним, ничего не видя и не помня. Бородин изредка видел их блаженные, поглупевшие от восторга лица, мелькавшие то где-то вдалеке, то напиравшие на «мейстера» при выходе его из собора, то бледные, вытянувшиеся во время его игры, то распаренные, красные под солнцем на улице, когда Лист со свитой и учениками шел в гостиницу: «Zum schwarzen Baren».[4]

Он шел, высоко закинув голову, ведя под руку баронессу Мейендорф, урожденную княжну Горчакову — близкую ему вот уже несколько лет, друга грос-герцога и всей веймарской знати. Слева от Листа шла миниатюрная, изящная, живая, одетая по парижской моде, с крохотными ножками и ручками (не могущими взять секст-аккорда фа минор), любимая ученица мейстера — Вера Тиманова. За ними тремя, щебеча, горланя, хохоча, шагал целый выводок девиц, слетевшийся к Листу из Ирландии, Венгрии, Швеции, Италии, Америки — без шляп, без перчаток, пожиравших тут же на ходу вишни, при всех пудрящихся,

пугающих немок своим непринужденным видом. Среди них было два-три ученика, длинноволосых, в отложных воротничках «с версту».

— Здравствуйте… Не отставайте от нас. Лист очень вас любит, — быстро шепнула Александру Порфирьевичу Тиманова, и вот он, грузный, лысый, полуседой, весь в чесуче, взятый какой-то веселой, загорелой датчанкой под руку, уже шагал со всеми вместе (а у Александрушки и Миши, мелькнувших где-то вдали, слезы зависти брызнули из глаз, но Бородин не дрогнул).

«Zum schwarzen Baren…» Любезности баронессы Мейендорф, дружеские взгляды маленькой Тимановой, и речи, и хохот, и мгновенное молчание при первом же слове Листа, и опять расспросы и приглашения, и наконец — всеобщий отъезд домой, в Веймар. Начальник станции рапортует, что для мейстера и барышень прицепили отдельный вагон; Лист, осунувшийся, усталый уходит в свое купе. Поезд трогается, кто-то бросает в Бородина, стоящего на платформе, вишнями; он машет шляпой: до завтра! (Но мелькает мысль, что кроме дорожного, другого костюма-то у него нет. Ах! Боже мой, вот оказия-то!)

Он оборачивается: четыре глаза смотрят вослед уходящему поезду — Александрушка и Миша с надеждой и отчаянием провожают в Веймар великого гостя.

Город Гете и Шиллера становился в летние месяцы городом Листа. Он жил здесь, и разноязычная толпа его молоденьких учениц целый день гремела из открытых окон на фортепиано. Уроки, на один из которых был приглашен Бородин и за которые Листом не взималось с учеников никакой платы, происходили в листовском кабинете, где все сидели вместе — кто на подоконнике, кто на диване — и слушали вместе с мейстером очередного ученика. Все были в сборе, когда Александр Порфирьевич вошел в комнату, и шумно обрадовались ему.

Здесь всем заправляла Вера. Лист, как видно, обожал свою маленькую Тиманову. Он обнимал ее, трепал по щеке, ставил всем в пример, делал все, что она хотела, а она изредка целовала ему руку и кокетничала и с ним, и с Бородиным, и с учениками, зная, что все ею восхищаются, и восхищаясь собою сама. Она играла так, что Бородин заслушался. Он любил виртуозную фортепианную игру, он когда-то в большом обществе воскликнул про Николая Рубинштейна: «Играет как сукин сын!» И игра Тимановой заставила его затрепетать; в глубине души он позавидовал Листу.

Но вот за рояль сел сам мейстер. Все стихло. Три окна в сад были открыты настежь, был жаркий летний день. Он играл сонату Шопена. Похоронный марш он каждый раз играл по-разному и

Тиманова шептала Бородину: «Вот так он всегда врет по-новому, чудак!»

Никто не пожелал слушать оправданий Александра Порфирьевича в том, что у него нет парадного костюма — в дорожном виде, запыленных башмаках, принужден он был явиться вечером в гостиную баронессы Мейендорф. Тиманова напутствовала его, а он призывал на помощь все свое мужество — предстояло играть с Листом в четыре руки.

«Лист не давал мне останавливаться, — писал он в Россию, — по окончании одной части, перевертывал ноты и говорил: «Allez toujours».[5] Когда я врал или недоигрывал, он мне замечал: зачем пропускаете, это так хорошо! Потом он и баронесса стали настойчиво просить, чтобы я спел мои романсы и показал что-нибудь из оперы. От пения я решительно отказался, но сыграл женский хорик из «Игоря»… Я был точно в чаду и долго не мог заснуть».

Не мог он заснуть и в следующую ночь: опять была игра, опять все в той же пышной гостиной, и канделябры, которые слуги в чулках проносили впереди гостей, шедших попарно в столовую, и высокопарные похвалы, расточаемые ему грос-герцогом, и подобранный на этот раз, церемонный Лист только еще усиливали торжественность и величие этого вечера. В громадном зале, среди картин, бронзы и реликвий, он затем слушал свои вещи, разыгранные Листом, и не верил, что это те же звуки, которые когда-то он сам робко наигрывал в балакиревской гостиной.

Потом он сыграл и спел им «Море».

— Но где же, где же эти сочинения? — вскричал Лист. — Кто их издатель? Почему их нет у меня?

— А вот еще попытка новой симфонии, — сказал Бородин… (Стасов называл ее «львицей», но Бородин знал, что не все в ней хорошо, что необходимо упростить кое-что, — дань увлечения духовыми.)

Лист слушал. Слушал и грос-герцог — высокий человек в белом жилете, сиреневых перчатках и звездой на груди, волею судьбы ставший хозяином этого города, как мог быть хозяином другого немецкого герцогства или графства. Он умел держать себя с гениями — такова была традиция его рода, где поэтов хоронили в одном склепе с коронованными особами.

И сам Бородин слушал себя, — никогда до того не приходилось играть ему в такой торжественной обстановке, среди которой был полубог. Он старался, как ученик, проклиная в эти минуты и недостаточность своей фортепианной техники, и все, что мешало ему в жизни быть настоящим музыкантом.

— Как хорошо, — сказал Лист, когда он кончил, — какой прекрасный русский музыкант передо мной.

…Медленно уносил его поезд назад, через Иену, Берлин, Эйдкунен, а мысль все бежала обратно, стремясь что-то дополнить, поправить в бывшем с ним, но, как сон, эти две недели оставались неизменными, невозвратимыми — они только делались все прозрачнее, все призрачнее; медленно, тяжело подступал к нему Петербург с делами, заботами, невзгодами, и он уже знал, что не сможет удержать в себе целиком этого воспоминания о единственном в его жизни празднике. Вот, как бывает, с пристани (а пароход уже идет, и нет возвращения!), — мелькнули руки Тимановой, которыми она для него играла «Исламея»; вот прозвучал веселый, ясный голос седого старика в патеровском воротничке, и единственные в мире глаза прокололи его насквозь…

И все истаяло в петербургском тумане.

VII

С детства — чуть ли не с двенадцати лет — в лице его была некоторая важность. И теперь белый галстук, фрак, звезда, муаровая лента поперек жилета шли ему; он смотрелся в зеркало: знакомое, спокойное и — ничего не поделаешь, надо признаться — барственное лицо. На лбу маленький шрам: упал двух лет, и с тех пор остался знак. Мешки под глазами. Геморрой, печень, сердце тоже немножко пошаливает. Пятьдесят лет. Впрочем, кажется, меньше: он решительно не знал, сколько ему лет; из Германии для какого-то словаря спрашивали об этом, и он написал пятьдесят, а потом какие-то родственницы уверили его, что сорок девять.

Сначала, получив письмо из словаря, он удивился: кому это нужно? Не все ли равно, когда и где он родился и что написал (и главное — чего не дописал)? Потом пришли какие-то вырезки из газет немецких, австрийских, голландских — критика его сочинений, игранных тогда-то, там-то. Критика обстоятельная, с нотными примерами, уважительная, восторженная. Обсуждались достоинства обеих симфоний. «Видно, так суждено, — думал он спокойно, без раздражения, — видно, недаром говорится где-то там про пророка и его отечество.»

Ему всегда казалось, что поэтов, литераторов, даже живописцев не ругают и не поносят так грубо, плоско и нагло, как ругают и поносят композиторов. Он никогда не страдал от писаний русских музыкальных критиков, но всегда им удивлялся. Мусоргский страдал от них. Кюи в раздражении спорил с ними печатно, Стасов негодовал — тоже резко и порой тоже грубо. Бородин удивлялся: вот он, всеми уважаемый человек, ученый с именем и звездой, признанный за границей композитор, и его в России шельмуют, да как! Удивительно… Вот этого меня, который в зеркале, обкладывают тупицы. За что?

«У Кончака — шопеновский пошиб», — писал кто-то и находил, что отрывки из «Игоря», «преподнесенные публике», лучше было бы не преподносить. «Ярославна назойливо кукует и кукует вам в ухо», а романс «Фальшивая нота» признавался девизом всей его композиторской деятельности: «Нужно, чтобы хоть где-нибудь была фальшивая нота. Иногда фальшивых нот несколько, иногда (как в «Спящей княжне») большинство фальшиво». Его называют «врагом и гонителем музыки», творцом «уродливых причуд», упрекают в склонности к «музыкально-безобразному и нелепому». В «Игоре» находят сходство с французскими операми. Из «Игоря» сыграно пока немногое (да и

написано-то не больше половины), но уже его оплевали и изругали так, что имя это скоро станет нарицательным: «мазня», пишут в «Санкт-Петербургских Ведомостях», «рядом с этой мазней музыка «Средней Азии» показалась нам даже довольно *миленькой».*

Как странно, как непонятно, что тебя ненавидят люди, которых ты не знаешь и никогда не узнаешь, мимо которых ты пройдешь, пожимая плечами и думая: «Скорее мимо. К тем, которые любят то, что я делаю».

Но в России их пока немного: этими людьми можно с трудом наполнить большую стасовскую столовую. Кое-кто смотрит на него, как на раритет, настоящее совершенство: счастлив, красив, умен и талантлив. Мусоргский выразился о нем однажды: «роскошно-безмятежен», а Петр Ильич Чайковский — очень симпатичный ему, но какой далекий! — с любопытством смотрит на него, когда они встречаются: говорят, он очень несчастлив, Чайковский, и Бородин внушает ему любопытство именно своим равновесием.

Как светские люди, они встречались и в Петербурге, и в Москве — как светские люди и музыканты, но о музыке — ни-ни, разве что об общем друге — Балакиреве, других общих друзей нет. (Бородин знает, что Чайковский давно ненавидит Кюи и приходит в бешенство, тщательно скрываемое, при упоминании о Мусоргском.) А больше оба обмениваются вежливыми словами, междометиями, наносят друг другу визиты, улыбаются друг другу, снимают друг перед другом шляпы. «Дилетант», — думает про Бородина Чайковский. «Клинический элемент», — думает про Чайковского Бородин. Он немного шокирован *«ненормальностью»* московского музыканта; да, он, вероятно, действительно *совершенство* — он не понимает никакого душевного уродства.

Он не понимает, не хочет понимать и душевного уродства Мусоргского: он жалеет его, он знает, что жизнь его кончится белой горячкой, но не понимает, откуда и как может придти к человеку — существу разумному — такое буйство, отчаяние, падение, может появиться в нем такая страшная склонность тратиться, теряться. Бородин, в жизни никуда не пришедший вовремя, откладывающий на завтра все, что нужно сделать сегодня, никуда никогда не спешивший, не раздвоившийся, но спокойно пошедший двумя дорогами — без сомнений, мучений, вопросов, не имеет желания да и умения вдуматься в то, что происходит вокруг — с людьми, с жизнью вообще. Люди кругом кажутся курьезом, «эдакой любопытной штукенцией». Курьезом кажется наука (вот ведь до чего докопались!), курьезом кажется ему собственная музыка: дико все это и откуда — если подумать

— взялось? Ну я понимаю: Кюи, Римский, Балакирев — у них ясно, откуда, но у меня? Какой-то, право, анекдот!

Как у большинства людей, к 50-ти годам начала все чаще приходить в голову мысль об упорядочении безалаберной жизни, — а у него жизнь была утомительной, безалаберной всегда. Нельзя ли устроить в Царское или Гатчину не переносящую Петербурга жену? (полгода проводит она в Москве и в деревне), нельзя ли выгнать из дому воровку-экономку, попросить выехать бездомную родственницу, самому не заниматься делами милых, но в сущности чужих людей? Трех воспитанниц он выдал замуж за трех своих учеников. Не довольно ли? Хорошо бы заболеть чем-нибудь серьезным и длительным, чтобы не читать лекций и сесть писать: половецкий стан из всех четырех действий — самое до сих пор им любимое. В Кончака, в Кончаковну вкладывает он что-то такое бессознательно-заветное. И, конечно, их и Владимира Галицкого он любит больше, чем Ярославну и самого Игоря — тема Игоря является к нему поздно и с трудом.

Корсинька уже не приходит тянуть из него жилы: написали? Переложили? Корсинька оброс семьей, положением; это теперь — Николай Андреевич, помощник управляющего Певческой капеллой; не пишет ему грозных писем и Балакирев — он изменился больше всех, он отошел от кружка, говорят: ему все кажется, что его разлюбили, недооценили, что его перестали слушаться; все — сам по себе, а он ни при чем. В голосе у него обида; никакие уверения не помогают; от волнения, что недохвалят его «Тамару», он нигде не играет ее, и людям с ним тяжело. И Модест, милый, буйный Модест Мусоргский, первый музыкальный друг Бородина, любимый и не до конца понятый им гений, не зовет его за собой в музыкальную пучину — на гибель «карьеры» и, если надо, самого существования: Мусоргский умирает в больнице, и на торжественных похоронах (Стасов позаботился обо всем — он и рождает их, и хоронит) — на открытии тяжелого мраморного монумента Бородин говорит речь. Лицо его грустно и важно. Когда он был ребенком, в нем уже была эта важность…

«А ведь я, господа, совершенно одинок на свете, — хочется ему сказать в заключение своей надгробной речи. — Тоска, господа, тощища!» И что до того, что Стасов и Кюи в восторге от речетатива Ярославны, что Лист пишет ему лестные письма и зовет опять в Веймар, что из немецкого словаря приходит запрос — сколько ему лет (ах он не знает, сколько ему лет!) — не в этом же человеческое счастье, и не в верности больной, старой жены, и не в шумном от молодежи доме, — где, между прочим, негде

приткнуться, — не в этом, но в чем? Если бы он был *настоящим,* как Корсаков, каким был Модест, то счастье было бы в самом речитативе, в том, *как* приходит к нему все это, минута, когда вдруг является «Море» или «Для берегов»; но он ведь не настоящий, он ведь раритет, и жизнь его — курьез, и теперь уже поздно что-либо менять и самому меняться.

Поздно не потому, что он устал, обрюзг, что ему пятьдесят. Сил в нем много, он мало тратил себя и мог бы жить сто лет — немножко сочинять, немножко преподавать… Поздно потому, что невозможно, немыслимо сказать: я выбрал. Я ухожу из академии; я — музыкант. Что скажет на это теща? Синклит профессоров? Что скажут ассистенты? У него есть обязанности: что скажут дамы из совета женских врачебных курсов? Анна Павловна Философова? Что скажут музыкальные враги? Заслуженный профессор Бородин решил, наконец, поступить в консерваторию.

Или, например, в Москве (где особенная напускается им на себя важность), что бы сказали там, если бы он начал свою жизнь сначала? Как вежливо и снисходительно улыбнулся бы Чайковский. Они сидят у Тестова вчетвером: Бородин, Балакирев, Чайковский и Танеев; Балакирев, Чайковский и Танеев разговаривают, как профессионалы, грубо сказать: карман их зависит от их вдохновения. А он между ними чувствует себя гостем. Но между Менделеевым и Меньшуткиным он тоже — гость. И пусть этого не чувствуют ни те, ни эти, он-то это чувствует и не перестанет ощущать никогда.

Параллельно с «Князем Игорем» шла у него и другая музыкальная работа — квартет, романсы, третья симфония, — но все это как будто делалось само, а когда не делалось — не стоило беспокоиться: когда-нибудь сделается. Этого своего убеждения он стыдился только перед иностранцами — русские понимали его и ему сочувствовали. Но Листу никак нельзя было признаться в нем. «Что вы делаете? Почему так мало пишете? Чем вообще занимаетесь?» — кричал и стучал тростью Лист во второе их свидание, когда Бородин, спустя четыре года после веймарского угара, опять поехал в Германию. «Мосье Бородин, так нельзя. Ваша опера не сдвинулась с места». Что было Листу здесь до науки, до женских курсов, до мелочей его домашней жизни, разъедающих его бытие? Ему никак нельзя было бы рассказать стасовское сравнение Бородина со слоном и его навозом. «Ценнейшая вещь слоновый навоз. И вот ходят-ходят за слоном целыми днями, чтобы не упустить, подобрать, а все нет. Так и я за вами, Александр Порфирьевич, — хожу, хожу, не упадет ли что — касательно «Игоря» или романсика какого». Листу надо выдумывать что-нибудь: славянскую лень, болезнь жены — что-

нибудь скучное и не очень верное. Но он смотрел остро и пронзительно и требовал, чтобы Бородин тут же, сейчас же делал переложения «Средней Азии» для четырех рук. «Да, да, натощак, до всякого кофе. Вот вам бумага, вот перо». И Бородин принимался исполнять его волю, выставляя над текстом свое посвящение мейстеру.

В это же приблизительно время он писал Стасову: «Насчет обилия хоров в «Игоре», то я не боюсь. Подумайте сами: в первой картине хор прерывается речитативами и ариозными вставками солистов: речитативом Владимира Галицкого, его brindisi, дуэтом и речитативом Скулы и Ерошки, княжою песней их. Во второй картине соло Ярославны, дуэт ее с Владимиром Галицким, многочисленные реплики ее, речитатив и вставки. Наконец, она тоже человек, а не фонограф или органчик, заводимый ключиком. Не сходя со сцены ни за какою надобностью и выводя высокие нотки, ведь всякая погибнет во цвете лет и славы, если ей не дать передышки. Притом она все волнуется, стонет, надрывается, скулит, ей-ей не выдержать никому. (Вона оно как сочиняется *органически* то либретто!) Впрочем, боюсь, чтобы на сей раз слон не оказался страдающим констипацией…»

На Ярославну, еще недописанную, у него руки чесались писать пародию.

VIII

В девяностых годах она приезжала в Россию, и многие еще помнят ее — графиню Мерси д'Аржанто, высокую старуху в рыжем парике, в бархатном платье с подборами, с лорнетом в руке, не снимавшей перчатки. В середине восьмидесятых годов ей было за пятьдесят, и в это именно время появилась она в европейском музыкальном мире. Цезарь Кюи, ездивший за границу, привез Бородину известие о том, что в Бельгии, в родовом своем замке живет немного капризная, но хорошо образованная барыня, большая любительница новой русской музыки, поклонница его двух симфоний и романсов. «Ну, и бог с ней», — ответил Цезарю Кюи Бородин. «Мудрено быть одновременно и Глинкой, и Семеном Петровичем, — писал Александр Порфирьевич жене, — и ученым, и комиссионером, и художником, и чиновником, и благотворителем, и отцом чужих детей, и лекарем, и больным. Кончишь тем, что сделаешься только последним. Не только в деревню, а кажется, к черту бы отправился отсюда. А тут еще эти бельгийские и петербургские дурачки с музыкой лезут».

Но настойчивая графиня сама написала ему, потребовала концертных номеров «Князя Игоря», прислала французские переводы бородинских романсов и арий. Переводы эти были ужасны: «сесть князем на Путивле» графиня перевела: «ах, дайте мне сесть на мою грузинскую кобылу Poultiva». Бородин на изысканнейшем французском языке (с большим трудом давшемся) поблагодарил ее. Она опять написала ему: опять прислала переводы, потребовала переложения «Моря» для оркестра, сообщила, что Бородин ее стараниями принят в Общество композиторов в Париже (причем его рекомендовал по ее просьбе Сэн-Санс). Кроме того, она сообщала, что в Бельгии два раза играли его 1-ую симфонию, а в Париже — А-дурный квартет, и спрашивала: что он за человек? Почему так мало пишет? Почему не кончает оперы? Знает ли про себя, что он большой музыкант?

Он ответил не сразу: было много домашних дел. Болел старый кот Васильич; потом его замучили заседаниями. Жена приезжала из Москвы, а когда она приезжала, начиналась та «невозможная жизнь», которой он так теперь боялся: жена не признавала «богадельни» (вовремя спать, вовремя есть), и он опять приучился ложиться в четвертом часу ночи, обедать, когда все ужинают, и опять у него ни на что не хватало времени.

«Милостивая государыня, — писал Бородин графине Мерси

д'Аржанто. — Я польщен, я тронут тем избытком доброты, с которым вы относитесь ко мне…» Но через два месяца она умело, как светская женщина, повернула переписку: «Вы для меня то же, что в сказках добрая волшебница для принца (обыкновенно ужасного дурака)», — писал он ей, и это ей очень нравилось, а еще через три месяца он звал ее «дорогой мамашей крестной» и почтительно целовал обе ее ручки, «которые вы еще от меня не отняли».

Однако голос его в письмах к ней оставался таким, будто из «степей», из «снегом занесенной варварской страны», некий «белый медведь», объевшийся сальной свечкой, говорит с существом возвышенным, необыкновенным и совершенно ему чужим. «Вы необыкновенны», — писал он, и она вторила ему: «Нет, это вы необыкновенные существа, там, в ваших льдах». — «Да, мы чудаки, — соглашался он, — но вы — ангел доброты и все сумеете понять и простить».

На первом месте из петербургских музыкантов стоял для графини Кюи. Балакиревым и Римским она интересовалась мало, Мусоргского едва знала и не стремилась узнать. Чайковский в это время был уже слишком знаменит, чтобы им стоило интересоваться — графиня любила открывать таланты, ее прельщала мысль устроить славу Бородину — не в Париже, где это было бы трудно и где успех мог быть сомнителен, но в Льеже и в Антверпене. Ее соблазняло поставить оперу Кюи «Кавказский пленник» на сцене королевского брюссельского театра. Соблазняла эта мысль и самого Кюи.

Если бы не Цезарь Антонович, Бородин, вероятно, никогда не тронулся бы из Петербурга; тщательная обработка графиней бельгийских музыкантов и публики, конечно, льстила ему, но он был слишком тяжел на подъем. Кюи уговорил его, почти насильно вырвал из дому, усадил в спальный вагон 1-го класса (Бородин никогда так роскошно не путешествовал). И эта поездка, и все бельгийское пребывание являлось потом в воспоминании каким-то хорошо срепетированным театральным спектаклем, в котором и он, и Кюи играли главные, несомненно очень приятные и хорошо разученные роли, душой которого была, наконец, впервые увиденная графиня Мерси д'Аржанто.

Ее безукоризненная светскость, ее замок, ее муж, ее обращение с главным дирижером бельгийского симфонического оркестра, как со своим личным секретарем, ее умная и тонкая лесть и умение знакомить и сводить обоих приезжих «дикарей» только с теми, кто знает их, уверяя, что это — вся Бельгия — все это сделало жизнь Бородина и Кюи у нее в гостях чрезвычайно приятной: у нее в гостях они чувствовали себя не только в

старинном замке Аржанто, но и в Льеже, и в Брюсселе — вся страна казалась им ее гостеприимным, комфортабельным родовым поместьем, населенным музыкально-образованными людьми, наперебой игравшими русскую музыку, знавшими наизусть «Среднюю Азию» и фортепианные вещи Кюи; на банкетах провозглашали тосты за «Игоря», и Бородин отвечал на французском языке, которому за эти месяцы подучился. Даже дирижерство Бородина вызвало овации; какие-то подбегали девушки просить автографов и у него, и у Кюи, после первого представления «Кавказского пленника» удостоившегося подношения — золотой лиры.

Больше всего это было похоже на сон. Маленькая, нарядная страна сделала ему славу, благодаря еще недавно совсем чужой богатой, взбалмошной барыне. Из Лейпцига и Парижа пришли приглашения — туда дошел слух о его бельгийском триумфе. Из Монако, из Вены шли письма. И в Петербурге кое-кто по приезде поздравил его.

В Петербурге — зима. Из железом окованных сундуков вынимаются запушенные нафталином бобры — шубы и шапки, громадные начищаются калоши, и вот уже он шагает от академии к клиникам — обычный его путь по набережной, от Литейного к Николаевскому мосту. Опять лекции, опять полтораста молодых лиц, обращенных к нему в аудитории, и слушательницы врачебных курсов, ходящие за ним гурьбой, носящие за ним его палку, его рукавицы, заглядывающие ему в глаза. Без всех этих девушек и юношей он не представляет себе жизни. Опять заседания, собрания, дела ученые и благотворительные, где-то на десятом месте — дела музыкальные: но в этом году они принимают новый оттенок.

Балакирев *был* — это теперь ясно и Стасову, и Корсакову, и Бородину. Балакирев жив, но все, что он мог, он исполнил, и без него, вне его, проходит теперь жизнь музыкального Петербурга, где крепнет посмертная слава Мусоргского, где растет Глазунов, где входит в славу Лядов, где появляется Митрофан Петрович Беляев со своими капиталами. «Как мы, однако, стары», — говорит Бородин, глядя на двадцатилетнего Глазунова. — «Как мы, должно быть, уже стары!» Но ощущения «умудренности», «убеленности сединами» у него нет: шалит желудок от невоздержанности в еде, шумит иногда сердце — вот и вся старость, да еще невозможность быстро двигаться. Внутри же порой так же чисто, весело и спокойно, как бывало, так же гладко и ровно, как в молодости. Есть силы — душевные, творческие — да что в них, если он не знает, как дать им волю, и впереди все, как и прежде, — сумбурно, неразрешимо и темно? Никогда в его

жизни не будет ни стройности, ни порядка, так и будет до конца тяготеть над ним невозможность осуществить все то, что в нем есть; как он подавил когда-то в сердце любовь к Анке, так подавил он музыку, так подавил увлечение точными науками — перевел его в профессию, что-то даже и в нем потушил; и если бы ему вернуть молодость — опять было бы то же, потому что он не может не поступать так, как поступает — во вред или на пользу себе — об этом не думается — думать, размышлять о себе он не может, он все откладывает на когда-нибудь, на какой-нибудь этакий уютный, одинокий вечер (какой бывает у всех людей), когда горит лампа и в мягком кресле… Но такого вечера у него нет.

У него вечерами полна квартира «чужих детей». Жена опять в Москве — и не пришлось бы ему ехать к ней, она пишет, что «при смерти», и письма такие тоскливые (только он привык и к тоскливым письмам, и к неизлечимым ее болезням — 20 лет уже всему этому, и что-то в душе притупилось, там, где раньше были сострадание и нежность). Вечерами — ни лампы, ни кресла, ни листа нотной бумаги перед ним — теперь ясно и то, что без этого он живет и проживет, а вот без «чужих детей», шума, смеха, бестолковщины, гипнотических сеансов, завывающего модную польку аристона он жить не может. Ему мало видеть их в аудиториях — он окружен и дома частью живущей на его счет, переженившейся между собой толпой «воспитанников» и «воспитанниц», уже обзаведшихся потомством, тоже присутствующим тут и требующим к себе внимания: кого-то он крестит, кого-то женит, кого-то лечит, кого-то устраивает «по гроб жизни». Среди них и старые друзья, и дети их, и внуки, и родственники родственников его и жены, наполняющие дом смехом, плачем, восторгами, жалобами, сплетнями. Вся эта орава требует от него помощи, совета, требует его времени, требует, чтобы он входил во все ее дела, чтобы кормил ее, чтобы развлекал и поучал.

В соседней аудитории сдвигаются скамейки, приглашается тапер и устраиваются иногда танцы.

На масленице 1887 года был такой бал — на этот раз костюмированный. Собралось человек тридцать гостей (а по хозяйству хлопотали какие-то «племянницы»). Бородин был одет мужиком — в кумачовую рубаху и высокие сапоги.

> «Ты не поверишь, как летит время в этом водовороте, в этой бесконечной толчее жизни…»

И в кумачовой рубахе, в высоких сапогах, он много танцевал и смеялся, плотно ужинал, пел хором, подражал кому-то.

«…Дни мелькают за днями, точно телеграфные столбы мимо поезда по железной дороге, который несется на всех парах…»

В аудитории, где гремел рояль и где отплясывали кадриль так любившие его, но так мешавшие ему жить люди, он внезапно запнулся на полуслове и со всего громадного роста, со всей своей важностью рухнул на пол.

«…Иногда, право, становится даже страшно, когда подумаешь, как бежит время, и куда бежит, и ради чего бежит…»

Это был разрыв сердца. Сперва у плясавших мелькнула мысль, что он шутит — многие хохоча продолжали кадриль, особенно дальние, и не сразу остановили тапера.

Там, где был похоронен Мусоргский и где Александр Порфирьевич говорил над ним речь, подле огромного, безобразного монумента был поставлен и ему самому монумент — еще страшнее, роскошнее и безобразнее. Словно подражая тяжелой его фигуре, огромному мертвому телу, на руках принесенному сюда, огромные повисли венки с лентами из жесткого золотого глазета, с черными бархатными буквами, прославляющими ученого, музыканта и либерала, с золотыми кистями — размером в его кулак. Тяжелая решетка сдавила могильную плиту; мраморный бюст в воротничке и галстуке был прижат гранитным сводом грузной памятной доски с выгравированными темами его музыкальных сочинений, с славянской вязью фамилии, с химическими формулами его открытий. Две страшные лавровые ветви поднялись над бюстом и скрещиваются вверху — все это должно изображать «золотую музыкальную страницу, вписанную Бородиным в историю России».

Корсаков и Глазунов разбирали его последние работы. В день смерти он что-то подчищал в III симфонии, а накануне сидел над хором половецкого дозора. Тут же валялся чей-то доклад по гигиене, просмотренный и одобренный Бородиным. На докладе был нарисован камертон.

1937

notes

Примечания

1

Братство *(фр.)*.

2

Вы написали прекрасную симфонию *(фр.)*.

3

Восхитительно, свежо! *(фр.)*.

4

«У черного медведя» *(нем.)*.

5

Идем дальше *(фр.)*.